Князев Евгений

ДЕЛО ПЯТЕРЫХ



18+

Евгений Князев

Дело пятерых

«Автор»
2026

Князев Е. Г.

Дело пятерых / Е. Г. Князев — «Автор», 2026

Каждую ночь у его кровати появляются тёмные фигуры. Сначала одна, потом две, теперь их пятеро. Днём он молодой художник и официант в маленьком кафе, который запоминает людей по одной детали. В его квартире стоит чёрный шкаф, ключа от которого у него никогда не было.Когда в последнем вагоне метро находят убитую студентку, а рядом с ней его, без сознания, все улики указывают на него. Добрый инспектор Колдер обещает помочь. Но сколько людей на самом деле живёт в голове художника и кто из них убийца? Мрачный психологический детектив, в котором ответ всё время был на виду.

© Князев Е. Г., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Ночные гости 6
Глава 2. Оплата: сто баксов 10
Глава 3. Снежно-белый пёс 14
Глава 4. Инспектор в кафе 18
Глава 5. Том дела № 4471 22
Глава 6. Пятна на тёмной одежде 27
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Евгений Князев
Дело пятерых

Евгений Князев
Дело пятерых
Психологический детектив

Содержание
Глава 1. Ночные гости
Глава 2. Оплата: сто баксов
Глава 3. Снежно-белый пёс
Глава 4. Инспектор в кафе
Глава 5. Том дела № 4471
Глава 6. Пятна на тёмной одежде
Глава 7. Лязг последнего вагона
Глава 8. Абсолютно чёрный шкаф
Глава 9. Текст заключения
Глава 10. Ордер
Глава 11. Кабинет доктора Вейса
Глава 12. Цепкий запах гари
Глава 13. В архиве
Глава 14. Единогласный приговор
Глава 15. Тихий дом на берегу
Глава 16. Апелляция: тридцать дней
Глава 17. Вновь ночные гости
Глава 18. И пустой стул
Глава 19. На часах шесть утра
Глава 20. А в центре картины

Глава 1. Ночные гости

Я лежал один.

Вокруг была лишь тьма, укутывавшая меня, как одеяло. Не та тьма, к которой привыкаешь за годы, когда знаешь каждый шорох своей комнаты и каждую полосу света на потолке. Эта была плотной и чужой. Она лежала на лице, и я чувствовал её кожей, прежде чем успевал о чём-то подумать.

Мне показалось странным, что не слышно ни машин, проезжающих по мокрому от дождя асфальту, ни самого дождя. Кстати, о дожде: прямо напротив моей квартиры, там, через дорогу висела светящаяся неоном вывеска ночного клуба «Дождь». Она мигала то зелёным, то красным, и даже сквозь плотные шторы эти блики ложились на мой потолок, сменяя друг друга. Из клуба постоянно доносились разные, если так можно было назвать, наборы звуков: тяжёлые удары, от которых дрожали стёкла, чей-то пьяный смех, крики, визг тормозов и женские стоны из подворотен, неподалеку от клуба. За долгие месяцы я научился засыпать под этот шум.

В эту ночь умолкло всё. Не было ни ударов, ни смеха, ни красно-зеленых бликов на потолке. Только тишина. Я пытался вглядеться в темноту, но все мои усилия были безуспешны. Я даже не мог понять, открыты у меня глаза или закрыты, и от этого мне становилось всё тревожнее.

Через мгновение раздался странный, неестественный звук. Звук был писклявый, режущий слух, как вилка по тарелке. Он родился где-то совсем близко, у самого изножья моей кровати, и растянулся в воздухе на целую вечность. Потом всё повторилось: тонкий, ледяной скрежет металла по фарфору, от которого по спине побежали мурашки и свело зубы. Я не знаю, кто и для чего ужинал в моей спальне в этот час, но мне вдруг стало ясно, что тарелкой на этом ужине был я.

Я попытался разглядеть, что это. На расстоянии вытянутой руки я видел что-то копошащееся в темноте: чёрное, извивающееся, то, что явно двигалось в мою сторону. Вокруг запахло сыростью, и холодный, затхлый воздух поплыл вдоль пола. Блеснули два ярких диска, а через мгновение их стало больше. Они вспыхивали один за другим, как окна в доме, где вечером возвращаются жильцы. Я пытался сосчитать их глаза и каждый раз сбивался: они то гасли, то вспыхивали вновь, и казалось, что существа переглядываются, решая, кто подойдёт первым. Сердце стучало так громко, что я боялся, как бы его не услышали. Я надеялся, что это были глаза. Если так, то ночных гостей было порядка пяти.

Я не мог пошевелиться. Одеяло стало тяжёлым и сковало мои движения и не давало ни единого шанса на побег. Я приказывал рукам подняться, ногам согнуться, но тело лежало так, будто его сняли с меня и аккуратно положили на кровать, а мне оставили только мысли. Скрежет приближался. Каждый новый звук раздавался чуть ближе предыдущего, как шаги человека, который не спешит, потому что знает, что ты никуда не денешься. Я слышал, как металл касается фарфора, как он замирает, и в этой паузе мне становилось ещё страшнее, чем в самом звуке: пауза означала, что кто-то прислушивается, и я начинал бояться собственного дыхания. Потом что-то вроде чёрной, дьявольской змеи толщиной в трость стало выползать кольцами и извиваться по краям моей кровати. Она не торопилась. Она ощупывала матрас, как слепой ощупывает стену, и там, где она проползала, простыня тяжелела и холодела. Меня охватил ужас. Я не верил, что это происходит со мной, и мне хотелось закричать, но губы не слушались.

Они стояли вокруг, полукругом, и были огромными. Большие чёрные пятна, величиной походившие на огромного гризли, стояли неподвижно. Они не шумели, не рычали, не шевелились, и в этой неподвижности было больше угрозы, чем в самом громком крике. Большие сияющие глаза пристально смотрели на меня. Я отчётливо слышал тяжесть их дыхания: мед-

ленного, влажного, пахнущего подвалом. Каждый выдох касался моего лица и оставлял на нём холодную испарину.

Так прошла, наверное, минута, а может быть, час. Время в такие минуты не идёт, а стоит. Я думал о том, как глупо умирать в собственной кровати, в белой комнате, которую я так любил, и о том, что никто не заметит моего исчезновения до самого вечера, пока в кафе не спохватятся, где официант. Когда мне всё же удалось пошевелить хоть одним пальцем ноги, существа, как по команде, сорвались с места и набросились на меня, как голодная собака кидается на кусок хорошего мяса.

В тот момент, когда я уже исчез, когда уже не чувствовал ни рук, ни ног, ни собственного голоса, из темноты пронзительно, словно луч солнца в дождливом небе, раздался звук моего будильника. Как хорошо, что это был всего лишь очередной кошмар.

Я сел на кровати, и меня трясло. Простыня промокла от пота и прилипла к спине, сердце колотилось где-то в горле, а в ушах ещё несколько секунд стоял тонкий скрежет вилки по тарелке. Я зажмурился, потом открыл глаза и увидел обычную, нормальную белую комнату, залитую утренним светом. Клуб «Дождь» за окном дремал, вывеска была выключена, а на подоконнике сидел голубь и смотрел на меня спокойно и равнодушно.

Я долго не решался встать. Потом всё же спустил ноги на пол и с удивлением почувствовал под ступнями тёплое, залитое солнцем дерево. Всё было на своих местах. Я осторожно обошёл кровать и осмотрел её со всех сторон: простыня была смята, подушка валялась на полу, но по краям матраса не осталось ни следа, ни пятна, ни одной капли. Я заглянул под кровать и увидел только пыльные носки и старый блокнот для набросков. Мне стало смешно, и этот смех получился нервным, совсем не моим.

Я подошёл к чёрному шкафу и прислушался. Что я хотел услышать, я не знал сам. Дверцы были закрыты, замок цел, и всё же запах сырости стал сильнее, чем вчера, как будто за ночь шкаф вдохнул глубже обычного. Я положил ладонь на холодное дерево, и оно показалось мне тёплым, почти живым. Я отдёрнул руку и сказал вслух, чтобы услышать собственный голос: «Ерунда». Комната ничего не ответила, только папоротник в углу качнул листом от сквозняка.

Я обошёл квартиру ещё раз, теперь медленно, проверяя всё по порядку. Входная дверь была заперта на два оборота, цепочка висела на своём месте. Окна закрыты изнутри, на кухонном подоконнике стояла чашка с вчерашним остывшим чаем, и на её краю темнел тонкий ободок. В ванной капала вода: я затянул кран до упора, и капля всё равно набухла на краю и упала в раковину. Ничего не тронуто, ничего не пропало. Только тишина стояла чуть плотнее обычной, и я ловил себя на том, что прислушиваюсь к ней: не раздастся ли где-нибудь тихий скрежет.

Очередной, потому что за последние недели мне снилось нечто подобное не раз. Неделю назад в темноте меня встречали двое, потом трое, а теперь, по моим подсчётам, их стало пятеро. Они приходили всё ближе и вели себя всё смелее. Я никому об этом не рассказывал: кому рассказывать? Над такими вещами смеются, а потом советуют меньше пить кофе.

Я сказал себе, что сны приходят к тем, кто слишком много работает и слишком мало разговаривает с людьми, и что к вечеру я не вспомню ни одной подробности. Но тело помнило иначе: плечи ныли так, что я с трудом поднял руки над головой, а в горле пересохло, и пришлось выпить два стакана воды подряд.

После такого стоит хорошенько умыться и привести себя в порядок. Я долго стоял под холодной водой, пока кожа не покрылась мурашками уже по-настоящему, а не от страха. На завтрак я обычно пью только кофе: чёрный, крепкий, без сахара, чтобы не размякнуть к вечеру. Кофе я варил в старой медной турке, которую мне когда-то подарили, и пока он поднимался густой шапкой, я стоял у окна и смотрел, как просыпается улица: дворник сгребал в кучу мокрые листья, булочник в фартуке выставлял на тротуар вывеску, а из подворотни выходила рыжая кошка и сначала долго недоверчиво нюхала воздух, прежде чем сделать шаг. Эти

маленькие утренние ритуалы возвращали мне чувство, что мир на месте. Времени до работы у меня было мало, поэтому всё, что оставалось после умывания и чашки кофе, я посвящал рисованию своей картины.

Эта картина жила со мной уже очень давно. Я не помню, когда её начал, и не могу объяснить, зачем она мне. На холсте, который стоял на мольберте у самой кровати, пока была только игра цветов: пятна, мазки, длинные потёки. Я не планировал, куда положить следующий мазок. Рука сама тянулась к нужному тюбику, и мне оставалось лишь не мешать.

Иногда мне казалось, что я рисую не картину, а письмо, адресованное человеку, которого ещё не встретил. Я не знал, когда оно дойдёт до адресата, но продолжал писать, потому что бросить его было страшнее, чем не закончить. В самой середине холста я оставил пустое место и не знал, чем его заполнить. Но я чувствовал, что когда-нибудь это придёт.

Я надел старую рубашку, всю в разноцветных пятнах, и встал перед мольбертом. Кисть всегда ложилась мне в руку одним и тем же движением, как рукопожатие старого друга. Я касался холста, и цвета, один за другим, вздыхали и просыпались: красный жался к левому краю, зелёный разливался справа, чёрный пропитывал всё, к чему прикасался. Сорок минут пролетали незаметно. Я никогда не смотрел на часы, потому что в этот час они были моими врагами.

Квартира у меня была просторная, светлая, выкрашенная в белый цвет. Я очень люблю белый цвет, цвет чистоты и непорочности. Мне всегда казалось, что в белой комнате ничего не может спрятаться: ни пыль, ни грех, ни дурные мысли. В квартире были большие окна, через которые проникало столько солнечного света, что по утрам и до самого вечера мне не приходилось включать лампы. Он ложился на светлый пол ровными квадратами, поднимался по стенам, играл на золочёных краях зеркала, и я нередко ловил себя на том, что просто стою посреди комнаты и греюсь в нём, как кот.

Я жил один. Друзей у меня почти не было: те, кого я мог бы назвать этим словом, растворились где-то по дороге, оставив после себя лишь лёгкую сладость воспоминаний. По вечерам, когда клуб напротив начинал дышать музыкой, я садился на подоконник, смотрел на людей, которые входили под красно-зелёную вывеску, и думал, что у каждого из них есть кто-то, кому можно позвонить среди ночи. У меня была только картина. Но, странное дело, я никогда не чувствовал себя одиноким в этой белой комнате, пока из угла не начинало тянуть сыростью.

Посредине комнаты стояла большая пышная кровать из светлого дерева. Я любил её за то, что на ней можно было утонуть. Рядом с кроватью стоял мольберт, а рядом с мольбертом поднос на колёсиках с кистями разного вида, с палитрой, растворителем и красками, которые имели для меня особое значение. Я не смог бы объяснить, чем они отличаются от тех, что продаются в любой лавке. Но каждый тюбик я выбирал так бережно, будто он мог обидеться, если я куплю не тот, и каждую кисть мыл после работы тщательно.

По углам комнаты стояли папоротники, листочки которых блестели от сбрызнутой на них воды. Я поливал их каждое утро из маленького пульверизатора и разговаривал с ними вполголоса. Они не отвечали, но мне нравилось думать, что слушают. У стены, той, что ближе к окнам, стояло большое, в полный рост, зеркало, позолоченное по краям, а слева и справа от зеркала стояли передвижные вешалки с одеждой. Одежды у меня было немного: несколько тёмных рубашек, пара плащей, пальто на зиму, и всё это висело ровными рядами.

Но несмотря на всю красоту и чистоту моей квартиры, в ней был один изъян, и я знал о нём с первого дня. Это был огромный чёрный шкаф, запиравшийся на ключ. Он стоял в дальнем углу, массивный, высокий, почти до самого потолка, с тяжёлыми дверцами, на которых потрескался лак. Ключа я никогда не находил, а когда однажды попытался сдвинуть шкаф, он не поддался ни на сантиметр, будто врос в пол корнями. Из него постоянно пахло чем-то непонятным для меня. Это был запах сырости, земли и мокрой ткани, и нередко ночью мне казалось, что он медленно растекается по комнате, как вода под дверью. Иногда я ловил себя

на мысли, что подолгу смотрю на него, как смотрят на человека, который знает о тебе больше, чем ты сам. Я вешал на дверцы полотенце, чтобы не видеть трещин лака, но к утру полотенце неизменно оказывалось на полу, и я списывал это на сквозняк, хотя окна у нас закрывались наглухо.

По всей видимости, бывшие жильцы забыли его, когда съезжали. Рано или поздно я его выкину.

Я бросил взгляд на часы, и они показали без десяти семь. Клуб «Дождь» за окном как раз открывал глаза: внизу хлопнула дверь, кто-то замёл крыльцо, и вывеска моргнула, на секунду вспыхнув красным и зелёным. Я поднял с пола портфель, накинул пальто и вышел, не оглядываясь на шкаф. Мне казалось, что он смотрит в спину.

Глава 2. Оплата: сто баксов

Было семь часов, и настало самое время отправляться на работу, на Милсом-Хилл.

Дорога занимала около часа. Сначала я шёл по мокрому тротуару мимо спящего клуба «Дождь», на крыльце которого дворник сгребал в кучу окурки и пластиковые стаканчики, потом спускался в подземку, где пахло железом и чужим сном, а потом ещё минут двадцать поднимался в гору пешком, по узкой улочке, зажатой с двух сторон старыми домами. Милсом-Хилл был невысоким холмом на окраине, который когда-то, наверное, считали красивым. Теперь с его вершины открывался вид на бесконечные крыши, трубы и мосты, прикрытые серой дымкой, и люди проходили мимо этого вида, не поднимая глаз.

Я работал официантом в кафе на Милсом-Хилл. Наше кафе было одним из тех самых заведений, куда люди приходят просто провести время в ожидании чего-то: будь то автобус, который задерживается, или деловая встреча, на которую не хочется идти. Не зря оно называлось «COFFI TIME». Над дверью висела потёртая вывеска, которую хозяин так и не удосужился заменить, а внутри всегда пахло свежим кофе, подгоревшим маслом и ванильной выпечкой, и этот запах въедался в одежду так прочно, что дома я чувствовал его на себе до самого вечера.

В кафе было мало столиков: пять или шесть у окон, один у стойки и один в самом дальнем углу, под лампой, которая вечно перегорала. Посетителей в день бывало человек десять-двадцать, не больше, но и они приходили не все сразу, а понемногу. Стены были выкрашены в тёплый горчичный цвет, на них висели чёрно-белые фотографии, где улыбались люди, которых никто из нас не знал. Хозяин купил их оптом на барахолке и сказал, что так уютнее.

Столики стояли ровными рядами, и я знал наизусть, какой из них шатается, какой стоит ближе всех к сквозняку, а за каким любят сидеть те, кто пришёл ненадолго. Я протирал их по утрам и вечерам, расставлял сахарницы, проверял, чтобы на каждом лежали салфетки, и этот привычный порядок успокаивал меня лучше любых слов. Даже в самые тяжёлые дни стоило взять в руки тряпку, и мысли становились ровными и тихими.

В кафе работали ещё двое, и звали их по-разному. Повара все мы называли Джо, по кличке Яичница, потому что на майке у него всегда было жирное пятно от масла в форме яичницы. Он стирал майку каждую неделю, но пятно возвращалось на то же самое место, как будто Джо носил его вместе с кожей. Вторую звали Грейс. Она была официанткой, как и я.

Грейс была той самой девушкой, ради которой я готов был работать сутками напролёт, лишь бы смотреть, как она своими тонкими и изящными ручками выставляет на прилавок пирожные с кремом. Она двигалась по залу легко и бесшумно, как танцует листок на воде, и умела улыбаться так, что у самого сердитого посетителя пропадало желание жаловаться на холодный суп. Она здоровалась со мной по утрам тем же ровным и вежливым голосом, каким здороваются с кассиром в магазине. А с Джо она здоровалась иначе, и я улавливал эту разницу кожей.

Всегда, когда гостей в кафе было мало, я садился за прилавок и наблюдал за ней. Её лицо было восхитительно, как работы Микеланджело и Рафаэля, её русые волосы, завивающиеся и сползающие локонами на пульсирующую от дыхания грудь, которые колыхались от лёгкого дуновения ветерка, заставляли меня застыть и любоваться ею. Иногда она ловила мой взгляд, удивлённо поднимала брови и спрашивала: «Тебе что-то нужно?» Я мотал головой и делал вид, что считаю чайные ложки.

Я смотрел на неё и понимал, что у нас с ней ничего не может быть. Я не привлекал её ни как человек, ни как собеседник. Даже если бы я исчез или встал перед ней на одно колено, о чём я постоянно мечтал, она вряд ли бы это заметила. Её интересовал не я, а повар Джо.

Джо было всего лишь тридцать один год, но на вид ему можно было дать все пятьдесят: выпавшие кое-где зубы, грубые, словно крокодилья кожа, руки и лысина, которую он пытался скрыть своим поварским беретом. Что она в нём нашла? Да, ему платили больше, чем мне, и на работу он приезжал на собственной машине. Только машина была чище, чем её хозяин и его мысли. Я не то чтобы завидовал Джо. Но когда смотришь на человека, ради которого ты готов горы свернуть, а ей, кроме другого, никто не нужен, то понимаешь, что она живёт совсем в другом мире, в котором нет места таким, как ты.

Думая о Грейс, я не заметил, как мимо меня промелькнула большая чёрная, как мои ночные гости, фигура.

Колокольчик над дверью не звякнул. Я только потом это понял. В кафе вдруг стало тише. Этой фигурой оказался мужчина высокого роста и крепкого телосложения. На голове у него была чёрная кепка, подобную носили охотники и разносчики газет в Англии, а длинное чёрное пальто на пуговицах доходило ему до щиколоток, с большим воротником треугольной формы. Под пальто виднелся сероватый спортивный костюм. Очень оригинально, подумал я. На ногах у гостя были обычные кеды, такие же самые кеды, которые носят дворовые мальчишки после школы, заляпанные грязью. В руках незнакомец нёс серебристый и вычищенный до блеска кейс с чёрной деревянной ручкой.

Господин решил сесть в самый дальний и тёмный угол кафе. Обычно там никто никогда не садился, так как там веяло сыростью и холодом, а лампа над столиком снова не горела. Он сел, поставил кейс себе на колени, обхватил его обеими руками, как обнимают ребёнка, и долго, пронзительно смотрел мне в глаза. В его взгляде явно читалось, что обслужить его должен именно я. Грейс, проходя мимо с подносом, покосилась на него и поёжилась, но ничего не сказала.

Не долго мешкая, я подошёл к гостю, чтобы принять заказ. Подойдя к нему, я сразу стал себя неудобно чувствовать. Человек, который сверлил в буквальном смысле меня взглядом, через минуту уже разглядывал меню, и лицо его скрывалось под козырьком кепки так, что я видел только подбородок и сухие губы. Находясь рядом, я чувствовал тяжесть его дыхания. Мне вдруг вспомнилась прошлая ночь, и я с трудом удержался, чтобы ни на шаг не отступить.

— Я буду это, — сказал он, указывая пальцем в меню.

Палец у него был длинный, тонкий, с аккуратно подпиленным ногтем, и совсем не вязался ни с кедами, ни с грубым пальто. Он заказал самый дешёвый кофе, который у нас только есть. Очень странно, что такой солидный человек, вероятнее всего при деньгах, пьёт такой дешёвый кофе «Робуста». Такой кофе даже я не стал бы заказывать: мы подавали его студентам, которым не хватало на латте, и пенсионерам, у которых болел желудок.

— Конечно, сэр. Одну минуту, — сказал я и удалился на кухню.

На кухне Джо перекладывал с противня на тарелку румяные булочки, а Грейс стояла рядом и смеялась над чем-то, что он сказал. Я включил кофемашину, и она заурчала.

— Видел его? — шепнула мне Грейс, оставив Джо с булочками. — Сидит, как памятник.

— Видел, — сказал я. — Заказал «Робусту».

— Самую дешёвую? — Джо хмыкнул и вытер руки о майку, прямо о то самое пятно. — Ну и пусть пьёт. Платит, значит, человек.

Глядя на этого мужчину сквозь приоткрытую дверь, я чувствовал, что мне становится не по себе, словно одно из существ моего сна пришло ко мне попить кофе. Когда жидкость, чёрная и густая, наполнила чашку, мне показалось, что в ней отразилось не моё лицо.

Через пять минут кофе был готов и стоял на столе у незнакомца.

— Вот, прошу, сэр, ваш кофе.

Он медленно протянул мне купюру в сто баксов. Бумага была новой, хрустящей, и она пахла чем-то странным, не деньгами, а холодной землёй.

— Сдачи не надо, благодарю вас, — сказал он.

Голос у него был тихий, ровный, очень вежливый, и от этой вежливости почему-то становилось неуютно.

Странный он, но было бы преступлением, если бы я отказал гостю в его пожелании. Я поклонился и вернулся за прилавок, зажав сотню в кулаке, как зажимают пойманную птицу. Джо немедленно выхватил её, повертел, поднёс к лампе и долго рассматривал водяные знаки с видом знатока.

— Настоящая, — наконец признал он и вернул мне купюру.

— Богатый, значит, или сумасшедший.

— С такими чаевыми, — вздохнула Грейс, — можно было бы и меня на кофе пригласить.

Я покраснел так, что почувствовал жар даже в ушах, а Джо расхохотался и хлопнул меня по плечу своей тяжёлой ладонью. Грейс смеялась тоже, но на меня не смотрела.

Оставшиеся двадцать минут, которые он находился в кафе, я смотрел только на него. Он был не похож на местного или на человека, который любит попить кофе. К чашке он так и не притронулся, только изредка подносил к ней ложечку и мешал, и каждый раз ложечка царапала фарфор тоненьким, противным звуком, от которого у меня сводило зубы. Но было в нём что-то такое неотъемлемо притягательное, что не могло меня отвлечь даже на Грейс. Я смотрел на него, как смотрят на тёмное окно в доме, где, как ты знаешь, кто-то есть. Перед уходом он ещё раз меня поблагодарил, коротко кивнул и покинул наше кафе. Дверь за ним закрылась без звука, и в углу стало теплее.

Я подошёл к столу, чтобы убрать чашку. Кофе в ней остыл и был нетронут, а на блюдце не осталось ни капли, ни следа. Я взял чашку в руки и почувствовал, что она холодная.

Всё, что происходило до конца рабочего дня, было обыденностью. После загадочного гостя было ещё несколько посетителей: женщина с газетой, которая читала одну и ту же страницу два часа, студент с ноутбуком, курьер, торопливо глотающий кофе на ходу. А потом пришла пожилая пара, которая каждый день приходит в кафе и садится за один и тот же столик у окна, где они когда-то познакомились. Скажи, милота? Каждый день они приходят сюда и заказывают пиццу с грибами.

Я ненавидел грибы, как и мужчина из их пары. Его звали Бен, и его бесила не только пицца с грибами, но и здешняя музыка, а ещё запах кафе, и скрип стульев, и то, что официанты всегда улыбаются, даже когда им плохо. Каждый раз он говорил мне об этом шёпотом, пока она его не слышала, наклонившись ко мне через стол. Я ему предлагал половину пиццы сделать с грибами, а вторую половину с сыром. Но ему и так нравилось выковыривать грибы вилкой и отдавать ей, отодвигая на край тарелки, аккуратно, одну за другой.

— Жертва, знаешь ли, — говорил он мне, подмигивая. — Но так она счастлива.

В этой паре я всегда видел именно то, что никогда не смогу получить: любовь и самопожертвование любимого человека. Жена Бена брала кусочек пиццы, откусывала и смотрела на мужа с такой нежностью, что мне хотелось отвернуться. Они пришли сюда в первый раз тридцать лет назад, в дождь, под одним зонтом, и с тех пор ни разу не изменили ни столику, ни заказу. Я часто думал, что любовь, наверное, и выглядит так: не как огонь, а как привычка вовремя подвинуть тарелку.

Также еще была группа подростков, которые слушали, как я уже говорил, «набор непонятных звуков» из старого динамика на подоконнике. Они приходили после школы, заказывали одну картошку на четверых и сидели до закрытия, смеясь над тем, что понятно только им. Я не прогонял их. Мне нравилось, что в кафе есть чей-то громкий, живой смех.

К полудню за окнами заморосил мелкий дождь. Он стекал по стёклам тонкими дрожащими нитями, и зал наполнился серым светом, в котором лица посетителей казались вылепленными из воска. Я то и дело ловил себя на том, что смотрю в дальний угол. Там было пусто, но воздух над столиком оставался холодным, и ни один из гостей, даже самый озябший, не

захотел туда пересесть. Я пробовал вкрутить в лампу новую лампочку, но она, горев всего минуту, погасла с тихим щелчком.

Время было уже десятый час, и кафе пора было закрывать. Я убрал своё рабочее место: протёр столы, поставил стулья на столешницы, высыпал из пепельниц то, что оставили курильщики, вымыл чашки и в последний раз провёл тряпкой по стойке. Потом вышел на улицу подышать свежим вечерним воздухом и подождать, пока Грейс и Джо закончат свою работу. Над холмом висел узкий месяц, как обломок белой тарелки, а внизу, в городе, зажигались огни, одни за другими, и мне казалось, что я смотрю на звёзды, упавшие на землю. Из окна кухни донёсся смех Грейс, и я снова поймал себя на том, что стою и слушаю его.

Сотенную купюру я так и не потратил. Она лежала в моём кармане, и мне казалось, что она чуть-чуть тёплая.

После закрытия кафе я был очень уставший и уже не помнил, как добрался до дома и оказался в кровати.

Глава 3. Снежно-белый пёс

Мои веки наполнялись свинцом, картина мира размывалась в моих глазах и становилась простым пятном. Так бывает, когда смотришь на акварель, на которую капнули водой: края расплываются, цвета текут друг в друга, и невозможно понять, где кончается небо и начинается земля. Я успел подумать, что не снял рубашку, что не погасил свет на кухне, что завтра снова вставать в шесть, и сон накрыл меня.

Опять была тьма. Но уже через мгновение мои глаза могли свободно различать цвета и предметы. Сначала проступило что-то зелёное и неровное. Под моими ногами стала появляться трава. Она была мягкой, зелёной и, что важно, влажной. Холодные капли щекотали мои ступни, и я с удивлением обнаружил, что стою босиком, в той самой рубашке, в которой лёг спать.

Воздух здесь пах мокрой землёй, дымом далёкого костра и чем-то ещё, очень знакомым, но давно забытым, как мелодия, которую напевала в детстве мать. Я не мог вспомнить, какая именно, и от этого было и сладко, и больно. Над головой не было ни звёзд, ни луны, а только ровный, молочно-серый свет.

Вдали я видел огромные камни, похожие на горы, но поросшие травой. Они стояли редко и далеко друг от друга, и между ними гулял ветер, тихо и протяжно свистя в расщелинах. Я шёл, сам не зная куда, и каждый шаг был легче предыдущего. Иногда, совсем тихо, откуда-то издалека доносился тонкий металлический скрежет, но стоило мне остановиться и прислушаться, как звук пропадал, и оставался один ветер. Через секунду неподалёку от меня появился дом.

Я почему-то знал, что сплю, и в то же время не хотел просыпаться. Так бывает с людьми, которые видят во сне то, что давно потеряли: они прячут своё знание глубоко и позволяют себе поверить. Я шёл по траве, чувствуя, как каждая травинка гладит мне ступни, и впервые за много недель в груди было спокойно и тепло. Земля под ногами чуть пружинила, и вмятины от моих шагов медленно выпрямлялись, не оставляя следа. Я оглянулся: позади лежала ровная, нетронутая трава, и от этого стало немного не по себе, хотя тревога ещё не успела оформиться.

Он возник не сразу, а проступил, как рисунок на запотевшем стекле. Сначала я различил крышу, потом трубу, из которой не шёл дым, потом тёмные квадраты окон. Он был небольшим, скорее сарай, чем дом. Он был стар и давно забыт. Дом, как и те самые камни, был объят кое-где зеленью: плющ, мох, длинные плети дикого винограда стянули стены. Рассматривая дом, я видел лестницу, прислонённую к его крыше, окна, в которых давно не кипит жизнь и не горит свет. Крыльцо покосилось, ступени просели, и на верхней, у самой двери, лежала пустая мятая миска.

Слева от дома стояли две деревянные палки, вкопанные в землю, и между вершинами палок была пропущена верёвка, на которой висело, по всей видимости, постельное бельё. Простыни были белыми и колыхались на ветру неторопливо и бесшумно, словно дышали. У калитки стояла старая лейка, а рядом лежал мячик, обгрызенный с одной стороны, и у крыльца стояла деревянная миска с облупившейся синей каймой: я знал, что в ней всегда была вода. Я долго не думал, кому мог принадлежать этот дом. Сердце уже знало ответ, и оно стучало быстро и радостно.

Это был мой дом, который я покинул много лет назад.

Я стоял перед ним: хотелось броситься на шею, но я не знал, узнает ли он меня, и узнаю ли я его.

Я не помнил, почему ушёл. Я не помнил, сколько мне тогда было лет и что сказал на прощание. Я помнил только скрип этой калитки, запах нагретых солнцем досок и звук, с которым закрывалась дверь. Я подошёл ближе и положил ладонь на шершавую стену: она была тёплой, как спина живого существа. Крыльцо состояло из трёх ступеней, и я помнил, что вторая всегда

скрипела. Я перешагнул её, не задумываясь, и только потом понял, что моё тело помнит этот дом лучше, чем я. Через мутное стекло виднелась комната, в которой я когда-то жил: низкий стол, табурет с вытертой обивкой, жёлтый половик у порога и стена, сплошь увешанная моими детскими рисунками: кривыми домиками, зелёными солнцами, собаками с пятью лапами. Я узнавал каждую линию. Мне даже показалось, что на самом большом листе, в углу, подписано моё имя, но буквы расплывались, как только я пытался их прочесть. Пытаясь заглянуть в окна, я увидел своего старого друга Тоби.

Тоби был моим верным другом с детства. Он был моей собакой. Мне подарили его щенком, крошечным белым комочком, который помещался в двух ладонях и пах молоком, и я тут же решил, что так пахнет счастье. Он вырос в пушистого, добродушного пса с чёрными, блестящими глазами, и в нём было столько любви, что хватило бы на целый город. Он сопровождал меня всюду: в школу провожал до самой калитки, на рыбалку ходил по берегу и караулил поплавок, а когда я рисовал на крыльце, он ложился прямо на листы и невозмутимо смотрел на меня, и я, смеясь, рисовал на нём, на его мягком боку, пока не вырастала целая картина. Каждый раз, когда я уходил, я говорил ему: «Я вернусь». И он садился на крыльцо или у окна и ждал, пока я не вернусь, потому что для него эти слова были законом.

Я помнил, как учил его давать лапу. Сначала он не понимал, чего я хочу, и только вилял хвостом, а потом вдруг догадался, и мы оба так загордились, что я угостил его кусочком сыра. Это заняло почти всё лето. Я садился перед ним на корточки, протягивал открытую ладонь и повторял: «Дай лапу, Тоби. Дай на счастье». Он склонял голову набок, как будто обдумывал просьбу, потом осторожно клал мне в руку тёплую подушечку с крошечными коготками, и я чувствовал, как внутри разливается что-то светлое и огромное. Этот ритуал мы повторяли каждое утро, и каждый раз он делал это очень серьёзно. С тех пор я верил, что счастье можно поймать в ладонь, если очень терпеливо ждать.

Невозможно описать, насколько я был рад, что вижу его снова. Его искрящиеся от счастья глаза, его белая и пышная шерсть. У меня падали слёзы, и я не вытирал их, потому что руки были заняты: я прижимал ладони к стеклу. Когда я снова увидел, как он, каждый раз видя меня в окно, забрасывал свои маленькие лапки на подоконник и в весёлой улыбке высовывал свой язык, радуясь, что я скоро прикоснусь к нему и поиграю, я рассмеялся и заплакал одновременно.

— Тоби, — шептал я. — Тоби, мальчик, я здесь. Я пришёл.

Он тявкнул, коротко и радостно, и принялся скакать на месте, не отрывая от меня глаз.

Я приложил ухо к стеклу и услышал, как за ним, совсем рядом, стучат по полу его когти, как он шумно дышит и радостно сопит, и этот милый, домашний звук был для меня дороже любой музыки. Мне хотелось раствориться в нём, остаться тут навсегда, на этом тёплом крыльце, под этим молочным небом, и чтобы больше ничего не менялось. Я даже забыл, что давно взрослый и что у меня есть другая жизнь, с кафе, и с кистями, и с большим чёрным шкафом в углу. Я хотел обойти дом, чтобы найти дверь, но замер.

Во всём буйстве эмоций я не заметил одного.

Небо над домом вдруг потемнело, а ветер стих. Я замер и прислушался: ни шороха, ни дыхания, только едва слышное потрескивание, которого здесь прежде не было. Простыни на верёвке перестали колыхаться и повисли. Даже трава у моих ног перестала шептать, и в этой внезапной тишине я впервые почувствовал, что рядом со мной кто-то есть.

Странный человек в чёрном сидел напротив окна дома на скамейке, под старой липой, и неторопливо покуривал сигарету. Дым тонкой струйкой поднимался вверх и не рассеивался, а стоял в воздухе. Он сидел очень спокойно, закинув ногу на ногу, и козырёк кепки скрывал его лицо, так что я видел только подбородок и сухие губы. Но пальцы, державшие сигарету, я разглядел хорошо: тонкие, длинные, с аккуратно подпиленными ногтями. Он был похож на того незнакомца, который приходил утром в кафе. Увидев, что я смотрю на него, мужчина

слегка прикоснулся двумя пальцами к козырьку, как здороваются с соседом по лестничной клетке, и усмехнулся.

Я отчётливо видел неподкупную усмешку, проявляющуюся в его глазах. Не знаю, как можно видеть глаза, которые скрыты козырьком, но я видел: холодные, ясные, довольные. Он смотрел не на меня, а на окно, где прыгал Тоби. Потом он затянулся в последний раз, недокурил, встал и бросил свою сигарету в дом, через открытую форточку, легко.

Яркое пламя озарило мои глаза. Настолько яркое, что могло затмить солнце. Оно вспыхнуло внутри дома и разом побежало по занавескам, по ковру, по деревянным стенам, жадное и весёлое. Мужчина в чёрном медленно уходил по дороге, не оглядываясь, засунув руки в карманы, как человек, который закончил несложную работу, но мне было не до него. Тоби был всё, что мне было нужно в этот момент.

Как тогда, в тот злополучный день, Тоби остался внутри совсем один.

Я бросился к двери и попытался её открыть, но она была заперта. Она никак не хотела поддаваться моим попыткам выбить её. Я бил в неё плечом, пинал, налегал всем телом, но дерево не поддавалось. К глазам подступали слёзы, внутри меня всё вибрировало и пульсировало, и моё сердце билось как отбойный молоток. Изнутри доносился тонкий, дрожащий скулёж, и от этого звука я готов был разорвать себя на части. Жар ударил мне в лицо, и в нос, как в детстве, ворвался запах горячего дерева и расплавленной краски. Я видел, как белая краска на двери вздувается пузырями и лопается, обнажая потемневшие доски. Мысли метались. Почему дверь заперта? Кто мог её запереть? Ведь я никогда не запирал её, когда уходил, потому что знал, что Тоби никуда не денется и никто его не обидит. Но стоило мне дёрнуть ручку, как я понимал, что замок давно закрыт, и ключа у меня нет.

Окно, подумал я. Я попробую разбить окно.

Я схватил с земли камень, потом другой, третий. Я кидал их в стекло изо всех сил, но они отскакивали и падали в траву без звука. Тоби уже не прыгал. Он стоял на подоконнике, упираясь лапами в стекло, и смотрел на меня, ничего не понимая, с доверием, которое хуже любого упрёка. Я кричал ему, что я здесь, что я рядом, что я сейчас, сейчас, но голос тонул в треске пламени.

Я наблюдал через окно, как то, чем я жил, как то, кому я говорил каждый раз, когда куда-либо уходил: «Я вернусь», горело синим пламенем. Это было страшное и завораживающее зрелище: огонь не рыжий, а холодный, синий, танцевал по стенам и потолку, и в нём тонули занавески, и ковёр, и мои детские рисунки, прикреплённые к стене.

Тоби перестал скулить. Он просто смотрел на меня сквозь дрожащее, плавящееся стекло, и в его чёрных блестящих глазах не было ни страха, ни упрёка. Была только вера, что я сейчас что-нибудь придумаю, что я всегда возвращался и вернусь и сегодня. Я шептал ему «Я вернусь» и сам не понимал, что говорю, потому что вернуться было уже некуда. От дома уже ничего не оставалось, он горел, вспыхивая искрами, которые рассыпались в воздухе и таяли.

Огонь перешёл на меня. Я не заметил, как это случилось. Просто вдруг посмотрел вниз и увидел, что мои ноги горят: синие язычки лизали мои ступни, пробирались по щиколоткам, поднимались выше. Мои ноги горели, но я не чувствовал их. Я чувствовал только тепло, исходившее от огня, мягкое, ласковое, почти уютное, и это было страшнее всего. Я закричал, но голос не вышел, и из горла вырвался только хрип. Тепло поднималось всё выше, мягко и неумолимо, и мне вдруг стало ясно, что огонь не причиняет боли только потому, что я никуда не убегаю. Я стоял и смотрел, как горит всё, что было мне дорого, и ничего не мог сделать, и эта беспомощность жгла сильнее любого пламени.

В окне, за пляшущими языками пламени, я успел увидеть, как Тоби лёг, положил голову на лапы и закрыл глаза, и этот последний, спокойный жест разбил меня, как стекло, которое я так и не смог разбить.

Но вдруг, словно сирена пожарной машины, прозвенел будильник, и я оказался в своей кровати.

Какое-то время я не понимал, где нахожусь. Простыня была влажной от пота, во рту стоял горький привкус дыма, а в ушах всё ещё звучал тонкий скулёж, который становился тише и тише, пока не растворился в тиканье будильника. Было очень ярко. Солнце светило прямо на мои ноги, из-за чего было очень жарко. Я лежал и смотрел на свои ступни, живые, целые, розовые от света, и никак не мог поверить, что они не горят.

Глава 4. Инспектор в кафе

С утра я почти не помнил свой сон. Остался только запах гари, который, как мне казалось, застрял у меня в волосах, и тёплое пятно солнца на ногах. Я долго лежал и смотрел в белый потолок, на котором солнечный свет рисовал медленные дрожащие полосы, и пытался сложить из обрывков хоть какую-нибудь картину. Выходили только тьма, дом, собака и человек в чёрном, который бросает недокуренную сигарету в окно. Всё остальное смывалось.

После таких снов стоит хорошенько умыться. Я умылся, долго тёр лицо холодной водой и смотрел на себя в зеркало, в большое, в позолоченной раме, которое досталось мне вместе с квартирой. Из зеркала на меня смотрел человек, которого я знал не слишком хорошо: худой, бледный, с тенями под глазами и с растрёпанными тёмными волосами, которые торчали во все стороны. «Привет», — сказал я ему. Он, разумеется, промолчал.

Я умылся ледяной водой, долго держал ладони под краном, пока пальцы не онемели, и вытерся жёстким полотенцем. На кухне поставил турку на огонь, нарезал хлеб, но так и не смог проглотить ни куска: во рту стоял привкус пепла, и каждый раз, когда я пытался о нём не думать, он становился сильнее. Я открыл форточку, впустил в комнату влажный утренний воздух и постоял у окна, пересчитывая в уме всё, что собирался сделать до начала смены: купить краски, заглянуть в булочную, не опоздать на автобус.

Кофе я сварил на скорую руку, в старой медной турке, которую мне когда-то подарили, но я уже не помнил кто. Пока он поднимался шапкой, я стоял у мольберта и смотрел на свою картину. Я работал над ней уже очень давно, так давно, что не мог вспомнить, с чего начал. На холсте было много цветов, но все они жались друг к другу: красный у левого края, зелёный у правого, чёрный и серебристый внизу, а в центре пока была пустота. Я знал, что эту пустоту я должен чем-то заполнить, но чем, не имел ни малейшего представления.

Я потянулся за кистью, чтобы сделать хотя бы один мазок, и замер. Кисть с тёмно-бордовой краской была чистой. Совсем чистой, влажной. Я хорошо помнил, что вчера утром я оставил её с краской на ворсе, потому что спешил на работу. Я взял её в руку, повертел, понюхал. Пахло растворителем, и больше ничем.

— Странно, — сказал я вслух.

Но странно было слишком много, чтобы удивляться каждой мелочи. Я поставил кисть обратно, допил кофе и, не оглядываясь на чёрный шкаф, который стоял в углу и, как мне показалось, чуть приоткрыл какую-то невидимую щель дыхания, пошёл одеваться. Шкаф был заперт. Я проверил. Привычка, оставшаяся с тех пор, как я въехал сюда. Дважды дёрнул дверцу, убедился, что ключ на месте, в замке, и вышел.

* * *

На Милсом-Хилл в этот день было непривычно тихо. Накрапывал мелкий, настойчивый дождь, из тех, что не промачивают, а просто делают воздух липким, и даже голуби, обычно носившиеся по тротуару, забились под козырёк пекарни напротив. Я шёл по знакомой улице и ловил себя на том, что смотрю не под ноги, а в лица. Серые лица, серые плащи, серые зонты. Мир будто припорошило пеплом.

В кафе уже горел свет. Джо, как всегда, гремел сковородками, но даже его вечные шутки про яичницу звучали глухо. Он поздоровался со мной взмахом лопатки, на которой висел кусочек лука, и снова отвернулся к плите. На его белой майке красовалось всё то же жирное пятно в форме яичницы, и сегодня оно, мне показалось, стало чуть больше.

Я взял поднос и пошёл по залу, механически обходя столики. Руки делали привычное дело: расставляли чашки, подливали воду, собирали крошки со скатертей. Но внимание

всё время возвращалось к двери, к колокольчику над ней, и каждый раз, когда он звенел, я невольно вздрагивал, хотя прекрасно понимал, что ничего страшного там нет.

Грейс стояла у прилавка и нервно перебирала салфетки. Она складывала их в аккуратную стопку, потом разваливала и складывала заново, и я видел, как у неё дрожат пальцы, те самые тонкие и изящные пальцы, ради которых я готов был сутки напролёт мыть пол в этом заведении.

Я хотел подойти и сказать ей что-нибудь простое, обычное, но слова застревали, и вместо этого я протирал один и тот же столик, пока дерево не начало блестеть.

— Привет, — сказал я.

— Ты слышал? — шёпотом спросила она, не поднимая головы. — Вчера вечером ограбили банк на Ист-стрит. Всего в трёх кварталах отсюда. Говорят, он вошёл за двадцать минут до закрытия, никого не тронул, просто взял деньги и ушёл.

— Нет, — ответил я. — Не слышал.

Я говорил правду. Но почему-то внутри у меня стало холодно, как в том дальнем углу, где никто никогда не садится.

— Мы же до десяти были здесь, — сказала Грейс, наконец подняв на меня глаза, большие и серые. — Я сама видела, как мимо окон пробегали люди. Какая-то суета. А потом всё стихло.

— Я ничего не видел, — повторил я и, чтобы не продолжать этот разговор, пошёл за фартуком.

Джо, высунувшись из кухонного окошка, выкрикнул, что у него закончились яйца для яичницы и что это первый знак апокалипсиса. Бен, сидевший за столиком, не отрываясь от газеты, заметил, что при апокалипсисе хотя бы музыку выключат. Я улыбнулся им обоим, и на секунду мне стало легче: в этом тесном, пропахшем кофе мирке всё ещё было место для самых обычных шуток.

Утро тянулось долго. Заходили редкие посетители, заказывали кофе и булочки, шуршали газетами. Все говорили об одном: о банке, о красных перчатках, о ловком грабителе, который взял деньги и исчез в дожде. Бен с женой пришли ровно в одиннадцать, как приходили каждый день на протяжении, кажется, десятка лет, сели за свой столик у окна и заказали пиццу с грибами. Бен пробурчал мне на ухо, что от этой музыки у него болит голова, а от грибов изжога, но я лишь кивнул и принёс пиццу. Его жена, маленькая седая женщина с нежной улыбкой, ласково погладила мужа по руке и сказала, что в этом кафе лучшие грибы в городе. Он вздохнул, взял кусок и начал есть. Жертва, знаешь ли.

Я стоял у прилавка и смотрел, как они едят. Я часто думал о том, что самое прекрасное на свете, наверное, вот такое: когда два человека, прожившие вместе много лет, продолжают заказывать то, что не любит один из них, только ради того, чтобы улыбка другого не погасла. Этого мне не получить никогда. Я знал это твёрдо.

* * *

Около полудня колокольчик над дверью звякнул, и в кафе вошёл человек.

Я посмотрел на него и сразу понял, что передо мной не очередной ночной гость. Он был высоким и широкоплечим, но двигался так тихо и аккуратно, что казался меньше, чем был. Серый плащ сидел на нём идеально, ботинки были начищены до блеска, и на них не было ни капли дождя. Лицо у него было усталое и доброе, какие бывают у школьных учителей, пережившего не один выпуск и не растерявшего при этом любви к детям. Седина на висках, мягкие морщинки у глаз, тёплая полуулыбка. Руки у него были большие, широкие, с длинными сильными пальцами, и он держал их сложенными на столе, будто стеснялся. Из нагрудного кармана выглядывал платок цвета тёмного вина.

Он не пошёл в дальний тёмный угол. Он выбрал столик у окна, тот, что обычно занимала пожилая пара, и аккуратно повесил плащ на спинку стула. Бен с женой, к моему удивлению, не возмутились. Они лишь вежливо кивнули ему.

— Добрый день, — сказал он, когда я подошёл с меню. Голос у него был негромкий, ровный, и от этого голоса мне почему-то сразу захотелось присесть. — Меня зовут Колдер. Инспектор Колдер. Не пугайтесь, я не за вами. Хочу выпить чаю и задать пару вопросов вашим коллегам. Если вы не против, начну с вас.

Он улыбнулся, и я невольно улыбнулся в ответ. После вчерашнего незнакомца, который сверлил меня взглядом, этот человек казался глотком свежего воздуха.

Я принёс ему чёрный чай с лимоном и поставил на стол блюдце, чашку и маленькую ложечку. Он поблагодарил кивком, и в этот момент от него повеяло чем-то знакомым, едва уловимым: сыростью, холодным камнем и чем-то ещё, горьковатым, вроде забытой на подоконнике корки. Я нахмурился, пытаясь вспомнить, где я мог ощущать этот запах, но мысль ускользнула.

— Вы здесь давно работаете? — спросил инспектор, помешивая чай.

— Три года.

— И запоминаете гостей?

— Всех, — сказал я. — Это моя привычка. Я ведь художник, мне нравится смотреть на людей. Лица, руки, походку. Иногда кажется, что я знаю про человека больше, чем он сам.

— Художник, — повторил он и кивнул на мои пальцы. — Вижу.

На ногте большого пальца ещё оставалось пятнышко бордовой краски. Я спрятал руку за спину. Мне стало неловко без всякой причины, и эта неловкость была тем неприятнее, что инспектор не сказал ничего обидного, а лишь улыбнулся ещё теплее.

— Не стесняйтесь, — мягко сказал он. — У меня сестра рисует. Всю жизнь руки в краске. Я её за это люблю.

Я кивнул. Мне хотелось ему верить.

— Вчера вечером, между восемью и десятью, — продолжил он тем же ровным тоном, — вы были здесь?

— Да. Мы закрылись в десять. Я убирал рабочее место и ждал Грейс и Джо, чтобы выйти вместе.

— А потом?

Я открыл рот, чтобы ответить, и понял, что не могу. Между закрытием кафе и моей кроватью лежала пустота. Я помнил, как вышел на улицу, помнил влажный вечерний воздух, неоновую вывеску «Дождь» напротив моего дома, которая мигала зелёным и красным. А дальше шёл только белый шум, словно плёнку аккуратно вырезали и склеили.

— Я очень устал, — сказал я наконец. — Пришёл домой и лёг спать.

— Конечно, — мягко сказал инспектор. Он не стал давить, не стал записывать. Только посмотрел на меня долгим внимательным взглядом, в котором не было ни подозрения, ни тревоги. Было что-то вроде жалости. — Знаете, у меня тоже бывают такие вечера. Идёшь, идёшь, а потом оказывается, что ты уже дома, а как дошёл, не помнишь. Это бывает от усталости. Нашей с вами работе хорошая память не помогает, а мешает.

Я улыбнулся. Он умел говорить так, чтобы человеку становилось легче.

Пока инспектор допивал чай, он расспросил и Грейс, и Джо. Я издали наблюдал, как он разговаривает с ними: наклоняет голову, слушает, кивает, ни разу не перебивает. Грейс говорила много, жестикулировала, показывала руками, где стояла вчера вечером. Джо отвечал односложно, косился на меня, будто хотел что-то сказать, но не решался. Потом инспектор поблагодарил их обоих и вернулся к своему столику.

Я подошёл забрать чашку. Он оставил на столе купюру, больше, чем стоил чай, а рядом положил визитную карточку, плотную, кремовую, с тиснёной надписью.

— Если вдруг вспомните что-нибудь, даже самое странное, звоните в любое время, — сказал он. — Иногда самые странные детали оказываются самыми важными.

— Хорошо, — сказал я. — Обязательно.

У двери он остановился и обернулся.

— И, кстати, у вас прекрасное кафе. Здесь так спокойно. Я обязательно зайду ещё.

Колокольчик звякнул, дверь закрылась. Я стоял посреди зала и смотрел сквозь стекло, как серый плащ растворяется в дожде. Грейс подошла ко мне и спросила, что он хотел. Я ответил, что ничего особенного, просто спрашивал про вчерашний вечер. Она кивнула и вернулась за прилавок, но я заметил, что она долго смотрит мне вслед.

* * *

Я взял чашку инспектора, чтобы отнести на кухню, и увидел, что под блюдцем лежит ещё одна вещь: сложенная вчетверо бумажная салфетка. Я развернул её. На ней карандашом был нарисован дом. Маленький, старый, с лестницей, прислонённой к крыше, с двумя столбиками слева и натянутой между ними верёвкой, на которой висело бельё.

Я не рисовал этого дома. Я видел его только во сне, всего несколько часов назад.

Я перечитал салфетку, потом посмотрел на дверь, потом снова на салфетку. Возможно, это сделал не инспектор. Возможно, это я, пока он пил чай, в каком-то странном забытье, нарисовал это своими руками, а он не заметил. Нет. Я вспомнил, что блюдце принёс сам, что на нём не было никакой салфетки, что его пальцы были чистыми, без единого пятнышка графита. Но тогда кто?

Я смял салфетку и сунул в карман фартука. Руки у меня дрожали. В голове повторялось одно: «Я вернусь».

— Эй, художник, — окликнул меня Джо, высунув голову из кухонного окошка. — Тебе кофе нужен? У тебя лицо как у мертвеца.

— Нужен, — сказал я.

Я выпил его залпом, не чувствуя вкуса. До самого закрытия я работал как заведённый: носил тарелки, протирал столы, разливал кофе. Но каждый раз, проходя мимо окна, я невольно смотрел на улицу, на скамейку напротив, на тёмные капли дождя, стекающие с вывески «Дождь», и мне казалось, что вот-вот там сядет человек в чёрном и достанет сигарету.

Но скамейка была пуста.

Глава 5. Том дела № 4471

Инспектор Колдер вернулся в управление в половине второго. Он повесил серый плащ на крючок, поправил платок в нагрудном кармане и сел за стол, на котором с утра лежала тонкая папка с картонной обложкой. На обложке чёрным маркером было выведено: «Ограбление банка, Ист-стрит. Дело № 4471».

Дело было простым, и это ему не нравилось.

Кабинет его находился на третьем этаже, в конце коридора, и был так же аккуратен, как он сам: стол без единой лишней бумаги, шкаф с тщательно подписанными папками, на подоконнике горшок с фиалками, которые Колдер поливал каждое утро и которые почему-то не цвели. На стене висела фотография: он и Клара на берегу реки, оба смеются. Снимок был старый, выцветший, в простой деревянной рамке. Он смотрел на него реже, чем хотелось бы, и чаще, чем следовало.

В управлении пахло мокрой шерстью и растворимым кофе. За стеной стучала печатная машинка, где-то хлопали двери, кто-то спорил о футболе, и всё это сливалось в ровный гул, под который Колдер думал лучше всего. Он двадцать лет проработал в этом здании и знал каждый его скрип. Знал, какая половица в коридоре поёт под ногой, на какой ступеньке лестницы нужно придержаться за перила, в каком кабинете никогда не закрывают форточку. Он любил это место, как любят старую удобную обувь.

Газеты лежали тут же, на углу стола, свежие, ещё пахнущие типографской краской. «Налёт в сумерках», кричал один заголовок. «Преступник в красных перчатках», выводил другой. Колдер скользнул по ним взглядом и отодвинул. Люди любят красивые слова для некрасивых вещей. Их это успокаивает.

Он раскрыл папку.

Налётчик вошёл в отделение в 20:41, за девятнадцать минут до закрытия. Камера над входом сняла высокую фигуру в чёрной куртке, красные перчатки, лицо закрыто шарфом до самых глаз. Он не кричал, не размахивал оружием, не приказывал ложиться на пол. Подошёл к окну кассира, положил на стойку записку и стоял молча, пока ему не отсчитали сорок тысяч. Две минуты сорок секунд. Потом вышел и растворился в вечернем дожде.

Колдер перечитал показания. Кассир, молодая женщина по имени Эмили Рок, дрожащим голосом сообщила, что записка была написана аккуратным почерком, без ошибок, и что у человека были спокойные глаза. «Спокойные, как у врача, — сказала она. — Он даже не торопился». Охранник утверждал, что в тот момент отходил в уборную. Управляющий отделением, толстый человек с влажными ладонями, слёзно просил вернуть хотя бы часть денег до ревизии.

— Красные перчатки, — сказала сержант Хьюз, входя без стука. Она поставила на стол два стаканчика кофе и села напротив. — Свидетели все как один говорят про перчатки. Лица никто не помнит.

— Тем лучше, — сказал Колдер. — Люди запоминают то, что им показывают.

Хьюз усмехнулась. Ей было тридцать четыре, она носила короткую стрижку и начищенные до блеска ботинки, и двигалась по управлению с той уверенностью, с какой ходят люди, давно решившие, что не будут никому нравиться. Колдер ценил её за прямоту. Он взял свой стаканчик, но пить не стал.

— Номера купюр, — продолжила она, раскрывая блокнот. — Банк передал список, двести двенадцать позиций. Разослать патрулям и ломбардам?

Хьюз, как всегда, не стала торопить. Она отпила воды и стала ждать. Дождь за окном не утихал, и стук капель по подоконнику делал паузу ещё длиннее. Она давно знала: если Колдер молчит, значит, он выстраивает в голове какую-то цепочку, и вмешиваться в этот момент бессмысленно.

Колдер взял листок, пробежал по нему глазами, помедлил на строчке в самом конце и аккуратно положил в верхний ящик стола.

— Пока не нужно. Если мы сейчас раструбим про номера, он перестанет пользоваться деньгами. Сначала я проверю сам.

— Но на это уйдёт время.

— Сержант, — мягко сказал он. — Я не прошу вас сомневаться. Я прошу вас подождать.

Хьюз пожала плечами и закрыла блокнот. С Колдером не спорили. За двадцать лет службы он раскрыл больше дел, чем любой другой инспектор округа, и каждый раз он делал это тихо, без шума, словно знал ответ заранее и просто ждал, пока остальные до него дойдут.

* * *

Столовая управления располагалась в полуподвале, в длинной комнате с низким потолком и клетчатой клеёнкой на столах. Здесь пахло луком, подгоревшим молоком и той особой полицейской усталостью, которую не вытравить никаким проветриванием. Колдер взял тарелку супа и чай, Хьюз взяла кофе и пирожок с капустой, и они сели у окна, на своё обычное место, откуда был виден кусочек двора и ржавый турник, на котором никто никогда не подтягивался.

— Вы не едите, — сказала Хьюз.

— Ем.

— Вы мешаете ложкой уже пять минут.

Он улыбнулся и положил ложку на край тарелки.

— Задумался. Бывает.

Хьюз откусила пирожок, прожевала, запила кофе и, помолчав, сказала то, что, видимо, давно собиралась:

— Моя мать вчера звонила. Спрашивала, когда я приеду. Я сказала, что дела. Она сказала, что у меня всегда дела.

— Она права.

— Знаю.

— И всё же вы не поедете, — мягко сказал Колдер. — Потому что дело важнее. Это не плохо, сержант. Это просто то, что мы выбрали. Нас никто не заставлял.

— А вы жалеете?

Он посмотрел в окно. На турнике сидел голубь, нахохлившийся, с мокрыми перьями.

— Иногда, — сказал он. — Но реже, чем вы думаете. Знаете, в чём главная ошибка молодых следователей? Они хотят знать правду. Это естественно. Но правда редко кому нужна. Людям нужно, чтобы виновный нашёлся. Чтобы мир снова стал понятным. Если вы дадите им это, они будут благодарны. Если нет, они будут искать сами, и найдут не того.

— А если виновный не тот?

— Тогда это ошибка, — сказал Колдер. — Ошибки случаются. Но не стоит бояться их больше, чем бездействия.

Хьюз задумалась. Ей показалось, что в его словах есть что-то правильное и что-то тревожное одновременно. Но она не стала возражать. Она допила кофе, поблагодарила и пошла наверх. Колдер остался сидеть над недоеденным супом, глядя на мокрого голубя.

В кармане его плаща зазвонил телефон.

— Колдер.

— Это Брэм, — раздался в трубке сухой голос комиссара полиции. — Вы видели газеты? Два нападения за три дня. Журналисты уже называют это «чёрной неделей». Мэр звонил дважды.

— Я знаю, сэр.

— Мне нужен результат, инспектор. Быстро и аккуратно. Без паники.

— Вы получите результат, — спокойно сказал Колдер. — Я работаю.

— Я надеюсь. Если вы не справитесь, придётся привлекать федералов.

— Они вам не понадобятся.

— Откуда такая уверенность?

Колдер посмотрел на свои руки, лежавшие на клеёнке, широкие, чистые, спокойные.

— У меня есть опыт, — сказал он. — И терпение.

Он положил трубку, допил остывший чай и поднялся. Поправил платок. Вышел из столовой так же тихо, как вошёл, оставив на столе нетронутый суп, над которым медленно оседал пар.

* * *

В два часа дня он поехал в банк.

Отделение на Ист-стрит было небольшим, с тяжёлыми дубовыми дверями и мраморным полом, по которому гулко стучали каблуки. Днём здесь бывало людно, но сейчас, после вчерашнего, в зале стояла тишина: клиенты обходили отделение стороной, будто ограбление было заразным. Колдер остановился у стойки, где вчера стоял налётчик, и положил на неё ладонь. Дерево было холодным и чуть липким от чистящего средства.

— Вы здесь стояли? — спросил он у кассира.

Эмили Рок кивнула. Лицо у неё было бледное, под глазами синяки.

— Вот здесь, — сказала она. — Он положил записку, вот сюда, прямо передо мной.

— Вы запомнили, что в ней было написано?

— «Всё до последней купюры, без шума. Тогда никто не пострадает». Подписи не было.

— И вы ничего не заметили в самом человеке? Рост, походка, запах?

Она задумалась.

— Запах был, — сказала она неуверенно. — Не духи. Что-то... как в старом шкафу. Знаете, когда открываешь шкаф, в котором давно никто не жил.

Колдер поблагодарил её, записал в блокнот что-то совсем короткое и перевернул страницу. Потом обошёл стойку, осмотрел угол обзора камеры, дверь для сотрудников и чёрный ход. Управляющий семенил за ним, бормоча про ревизию и страховку, а Колдер слушал вполуха.

У чёрного хода он остановился.

— Эта дверь всегда заперта?

— Всегда. Ключи у меня и у охранника.

— Охранник отходил в уборную. Вы уверены, что он вернулся тем же путём, что и ушёл?

Управляющий открыл рот, закрыл, снова открыл.

— Я... не знаю. Я об этом не думал.

— Вот и подумайте, — мягко сказал Колдер. — Если вспомните что-нибудь, позвоните.

Он вышел на улицу. Дождь усилился, стал плотным, и тротуар блестел, отражая свет витрин и редкие фары. Колдер постоял под козырьком, глядя на проезжающие машины, потом достал из внутреннего кармана маленький блокнот в кожаной обложке и открыл на чистой странице.

Свидетели — 14. Камера — 1. Перчатки — красные. Запах — шкаф.

Он подумал и дописал ниже:

Милсом-Хилл. Официант.

Обвёл эту строчку дважды.

* * *

От банка Колдер пошёл пешком. Дождь превратился в морось, и прохожие, перепрыгивая через лужи, торопились скорее спрятаться в тёплых витринах. Он шёл неторопливо, по маршруту, которым, по его расчётам, должен был уйти налётчик: к углу, потом вдоль аптеки, затем под арку, ведущую во двор. Он не искал улик. Он просто хотел почувствовать, как здесь ходят люди. Остановился у витрины, посмотрел на отражения прохожих и пошёл дальше.

У аптеки он остановился. За стеклом, у кассы, стоял молодой провизор в белой шапочке и перебирал картонные коробочки с таблетками. Колдер вошёл, звякнув колокольчиком, и показал удостоверение.

— Вчера вечером, около девяти, к вам заходил мужчина в красных перчатках? Высокий, в чёрной куртке.

Провизор задумался.

— Да, — сказал он. — Был такой. Купил пластырь и бутылку воды. Я ещё подумал, что странно: на улице дождь, а он в тонкой кожаной обуви.

— Лицо запомнили?

— Нет. Он был в шарфе. Но руки... — Провизор поднял ладони. — Очень тонкие. Как у пианиста.

Колдер кивнул, записал это в блокнот, поблагодарил и вышел. На улице он постоял минуту, поправил платок в нагрудном кармане, потом вернулся к витрине и долго смотрел на своё отражение, на серый плащ, на аккуратно подстриженные виски, на спокойное лицо, которое двадцать лет не менялось.

— Как у пианиста, — сказал он вполголоса и усмехнулся.

Это была не злая усмешка. Скорее усталая, как у человека, который слышит давно знакомую мелодию и ловит себя на том, что подпевает.

* * *

Вернувшись в управление, он обнаружил на столе записку от Хьюз: «Звонили из лаборатории. Бумага записки обычная, отпечатков нет. Почерк печатный, левша или специально меняет руку. Перчатки сняли на камере в 20:43, но только с одной стороны. Смотрите запись».

Колдер включил монитор. Он прокрутил запись до нужного момента и остановил кадр. На экране налётчик, стоя у стойки, на секунду стянул с правой руки красную перчатку, чтобы поправить шарф. Кисть была тонкая, с длинными пальцами, но качество изображения было таким, что разглядеть что-либо больше было невозможно. Он увеличил кадр, потом ещё раз. Что-то пятнышком темнело на ногте большого пальца.

Он смотрел на это пятнышко долго, не мигая, а потом выключил монитор.

— Нашли что-нибудь? — спросила Хьюз с порога.

— Пятнышко на ногте, — ответил Колдер. — Грязь или краска, по такой записи не разобрать. Налётчик носил перчатки, сержант.

— И всё-таки вы что-то заметили.

— Я многое замечаю, сержант. Но замечать и знать, это разные вещи.

Он улыбнулся ей той самой тёплой улыбкой, от которой людям становилось легче, и Хьюз, как обычно, сдалась. Она пожала плечами и вышла, а Колдер ещё раз пробежал глазами по списку купюр, отметил карандашом несколько номеров и вернул листок в верхний ящик, к остальным бумагам по делу.

Хьюз ушла в семь, этаж опустел, и до поздней ночи он сидел один. За окном давно стемнело, дождь не стихал, мелкий, настойчивый, из тех, что рисуют на стёклах длинные дорожки. Колдер не любил такие дни: в дождь свидетели помнят хуже, а улики смывает быстрее.

Он любил это состояние, когда мысли идут сами, без усилия, и каждая последующая цепляется за предыдущую. Это была лучшая часть работы: не поиск, а узнавание.

Он вспомнил молодого человека из кафе: тонкие пальцы, пятнышко краски на ногте, растерянные, слишком доверчивые глаза. Таких людей ему всегда было жаль: город перемалывал их первыми.

Около полуночи телефон на столе зазвонил. Колдер снял трубку.

— Инспектор слушает.

— Это Хьюз, — сказала она. Голос у неё был уже не такой ровный. — Только что звонили из метро. В последнем вагоне пятнадцатой линии нашли тело девушки, лет восемнадцати, студентки. Просят приехать.

Колдер помолчал. Дождь за окном усилился.

— Выезжаю, — сказал он.

Он положил трубку, встал, взял плащ. У двери остановился и, не оборачиваясь, коснулся платка в кармане, как касаются талисмана.

Потом выключил свет.

Глава 6. Пятна на тёмной одежде

Вечер подкрался незаметно. Я как раз вытирал последний столик, когда понял, что за окном давно стемнело, а дождь, нудный и мелкий, не прекращался с самого утра. Грейс уже надевала плащ, а Джо вытирал руки о фартук и ворчал, что сегодня никто не заказал яичницу, а значит, мир сошёл с ума.

— Тебя проводить? — спросила Грейс, не глядя на меня.

Сердце у меня ёкнуло. Она спрашивала это впервые за три года. Я открыл рот, чтобы ответить, и тут же закрыл, потому что в голове сразу побежали десятки причин, по которым этого делать не стоит: я не умел разговаривать, я был скучным, у неё наверняка кто-то был, а на улице шёл дождь и я не взял зонт.

— Спасибо, — сказал я. — Мне ещё нужно в магазин.

Это была ложь. Мне не нужно было никуда, кроме моей белой квартиры. Но Грейс лишь кивнула, поправила воротник и вышла, оставив после себя лёгкий запах яблок и корицы. Я смотрел ей вслед, пока её жёлтый зонтик не растворился в сером потоке прохожих, и в этот самый момент заметил первое пятно.

Оно было красным.

Я решил, что мне показалось. Прохожие шли по Милсом-Хилл густой унылой толпой, все в плащах, в тёмных куртках, в серых шарфах. Среди этой серой реки мелькнуло одно-единственное яркое пятно: пара красных перчаток на руках высокого мужчины, который покупал газету у уличного торговца. Я не видел его лица, только широкую спину в чёрной куртке, но перчатки горели, как два уголька в остывшем костре, и от этого свечения у меня закружилась голова.

— Ты чего застыл? — спросил Джо, выходя из кафе и закрывая дверь на ключ.

— Ничего, — сказал я. — Показалось.

Когда я снова посмотрел на улицу, высокого мужчины уже не было.

* * *

До метро я шёл медленно. Я часто так делал после работы: растягивал дорогу, чтобы подольше не оставаться наедине с мыслями. На Милсом-Хилл вдоль мокрого асфальта тянулись витрины, и в каждой из них я видел своё отражение, бледное и вытянутое. Я заглядывал в окна магазинов, в которых двигались люди, и мне вдруг стало ясно, что я смотрю на них иначе, чем раньше.

Раньше я видел людей. Теперь я видел цвета.

У булочной стояла женщина с коляской, и коляска была обычная, серая, но на её запястье болтался зелёный браслет, такой яркий, такой чистый, что его хотелось потрогать. У перехода ждал мальчишка с рюкзаком, и на его кроссовке горел красный шнурок. У газетного киоска сидел старик, и в его трости сквозила густая тёмная синева. Каждый из них нёс свой собственный цвет, маленький, почти незаметный, но такой настойчивый, что я начинал понимать: это не случайность.

Я остановился и достал из кармана смятую салфетку. Развернул, разгладил на ладони. Дом, лестница на крыше, верёвка с бельём. Я смотрел на карандашные линии, и мне казалось, что я знаю этот рисунок не просто по сну, а по руке, которая его вывела. Штрихи были мои. Нажим мой, привычка чуть заваливать линию влево тоже была моей. И всё-таки я не рисовал этого.

— Молодой человек, вы не подскажете, который час?

Передо мной стояла маленькая женщина в бежевом пальто. Я поднял на неё глаза, и меня словно ударило током: на воротнике её пальто, прямо у шеи, сверкала крохотная брошка, и эта брошка была чёрной и серебристой, как кейс незнакомца из кафе.

— Одиннадцать, — сказал я хрипло. — Без десяти.

— Благодарю, — улыбнулась она и пошла дальше.

Я смотрел ей вслед до тех пор, пока она не скрылась за углом. Потом сунул салфетку в карман и пошёл быстрее. Мне хотелось домой. Мне хотелось к мольберту, к краскам, к белым стенам, которые никогда не меняют цвет. Но дорога домой лежала через метро, и в метро нужно было спуститься.

* * *

Я не любил метро. В детстве оно казалось мне огромным животным, глотающим людей и выплёвывающим их через несколько минут уже другими. Я боялся этого животного и в то же время, как это бывает, тянулся к нему, потому что только там, под землёй, никто не смотрел друг на друга, и можно было ехать и думать, будто тебя нет.

Платформа была почти пустой. Табло показывало, что следующий поезд придёт через три минуты. Я встал у самой желтой линии и посмотрел вдоль путей. Оттуда тянуло сквозняком, пахло машинным маслом, пылью и тем особенным, застоявшимся запахом, который бывает только под землёй. Я вдохнул его и вспомнил кое-что.

Этот запах был очень похож на сырость из моего чёрного шкафа. И на запах, который исходил от инспектора Колдера, когда он помешивал чай.

Я не успел додумать эту мысль. Из тоннеля вынырнули два ярких глаза, послышался гул, и поезд вполз на станцию. Двери разъехались с шипением. Я шагнул внутрь.

Вагон был почти пуст. На сиденье у двери дремал мужчина с газетой на лице, у дальней двери сидела пожилая женщина и держала на коленях сумку, прижимая её обеими руками. На следующей станции вышел мужчина с газетой, потом женщина с сумкой, и я остался один. Я перешёл в последний вагон, потому что всегда ездил в последнем: там было тише и меньше людей.

Но на этот раз я был не один.

На одной из скамеек в самом конце вагона сидела девушка. На вид ей было лет восемнадцать, не больше: тонкая, с каштановыми волосами, собранными в небрежный хвост, в светлой куртке, из-под которой выглядывал воротник свитера с вытянутыми манжетами. На коленях у неё лежал раскрытый конспект исписанный ровным почерком, на рюкзаке болтался брелок в виде зелёного листка, а в ушах торчали проводные наушники, из которых едва слышно сочилась музыка. Студентка, подумал я. Едет с поздней пары, наверняка засиделась в библиотеке. Она грызла кончик карандаша и шевелила губами, повторяя что-то про себя, и время от времени тихонько вздыхала. Красивая, такая умница вряд ли бы согласилась общаться с таким как я, стеснительным парнем, да и у нее наверняка есть молодой человек.

А потом я увидел человека в тёмно-зелёном плаще.

Он сидел наискосок от неё, и я не мог понять, как не заметил его раньше. Плащ на нём был старый, потёртый на локтях, с кое-где видневшимися заплатками, с отвисшими карманами, из которых торчали края каких-то смятых бумажек, а на воротнике темнели жирные пятна, въевшиеся так давно, что их уже не отстирал бы никакой порошок. Он сидел очень спокойно. Не двигался, не смотрел на неё в упор, только чуть заметно покачивал ногой, и ботинок, тяжёлый, с облезлой подошвой, тихонько постукивал по полу. Но с каждой секундой в вагоне становилось всё тише, словно кто-то выкручивал звук, и воздух между ними сгущался.

Девушка подняла глаза от конспекта, мазнула по нему взглядом, быстро отвела его и придвинулась ближе к стене. Я увидел, как её пальцы сжали карандаш так, что побелели костяшки.

Поезд нырнул в тоннель. Свет мигнул и погас на долю секунды, а когда вспыхнул снова, человек уже сидел рядом с ней.

Первым до меня донёсся запах. Он прокатился по вагону тяжёлой волной: прелый, сладковатый, смесь застарелого пота, дешёвого одеколона и чего-то кислого, вроде несвежего молока. Меня сразу замутило. Я почувствовал, как в горле встаёт тугой ком, и вцепился в поручень, чтобы не согнуться пополам.

— Не бойся, — сказал он. Голос у него был тихий, мягкий, влажный, как будто он говорил с полным ртом, и от этой ласки по моей спине побежали ледяные мурашки. — Я просто хочу посидеть рядом. Тебе же не жалко?

Она не ответила. Она смотрела прямо перед собой, на чёрное окно, и в стекле я видел её отражение: побелевшее лицо, расширенные глаза, приоткрытые губы. Она медленно вытащила один наушник, и музыка стала слышна всем, тонкая, нелепая, весёлая, совершенно неуместная в этом вагоне.

— Пожалуйста, пересядьте, — выдавила она наконец. — Тут же полно места.

— Полно, — согласился он и придвинулся ещё ближе. — Но мне нравится здесь. От тебя так хорошо пахнет. Чем это ты пахнешь? Яблоками? Я люблю яблочки.

Я видел, как он медленно наклонился к её волосам и втянул воздух, шумно, долго, с влажным присвистом, закрыв глаза от удовольствия. Видел, как у неё дёрнулась шея, как она отпрянула, ударившись плечом о стенку вагона. Видел, что на его верхней губе блестит капелька слюны, а между жёлтыми зубами застряло что-то серое. Эти мелкие, ненужные детали врезались мне в память, и я до сих пор не могу от них избавиться.

Я должен был подойти. Должен был сказать хоть слово, схватить его за плащ, закричать, ударить кого-нибудь. Но я не мог шевельнуться, как не мог шевельнуться в своей кровати, когда чёрные существа обступали меня в темноте. Ноги налились свинцом, горло стало чужим. Я хотел крикнуть: «Эй, оставьте её!», но изо рта не вышло ни звука. Мои губы не слушались.— Ну чего ты? Я же вижу тебе хочется, ты просто хочешь казаться недотрогой — продолжал он, и в его голосе появилась обида, детская, капризная, от которой стало ещё противнее. — Я же по-хорошему, хочу помочь тебе. Я всегда по-хорошему. Ты посмотри на меня. Посмотри.

Он положил руку ей на колено и в туже секунду она полезла дальше пропадая в тени складок юбки. Ладонь у него была широкая, красная с прожилками, с обкусанными ногтями, и я почему-то отчётливо увидел, как она блестит от пота.

Девушка вздрогнула, отбросила его руку, вскочила, но он оказался быстрее. Он перехватил её запястье и дёрнул вниз с такой силой, что она упала обратно на сиденье, ударившись головой о стекло вагона. Конспект соскользнул на пол, страницы раскрылись веером, и по ним, оставляя грязный след, проехался его ботинок. Она открыла рот, чтобы закричать, и в этот момент он накрыл ладонью её лицо, зажав и рот, и нос. Я услышал приглушённый, захлёбывающийся звук, и этот звук был страшнее любого крика. — Тише, тише, — шептал он, придвигаясь к самому её уху. — Не надо шуметь. Никто не любит шумных девочек, но ты не такая, я знаю. Видишь, никто не смотрит. Никому до тебя дела нет.

Я не мог отвести глаз. Я видел, как её тоненькие ручки бьют его по плечам, по груди, как ногти царапают потёртую ткань плаща, как каштановый хвост бьётся о его локоть. Видел, как слёзы, крупные, горячие, катятся по её щекам и затекают ему под пальцы, а он морщится и вытирает руку о её куртку, как вытирают испачканную вещь. Видел, как она, задыхаясь, пытается дотянуться ногой до его колена и как он, не повышая голоса, говорит ей: «Ай-яй-яй, нехорошо, меня только сильнее возбуждают плохие девочки».

Нехорошо. От этого слова меня вывернуло бы наизнанку, если бы у меня было чем.

В вагоне были ещё люди. Теперь я это ясно понимал: у дальней двери сидел мужчина в деловом костюме и уткнулся в телефон, чуть дальше дремала женщина с пакетами, за стеклом в соседнем вагоне мелькали чьи-то спины. Но никто не поднял головы. Мужчина в костюме, не

отрывая глаз от экрана, чуть прибавил громкость в наушниках. Женщина с пакетами поплотнее закуталась в шарф и отвернулась к окну. Все эти люди, спокойные, обычные, не злые, просто вдруг сделали вид, что ничего нет. Их равнодушие липло к коже и было, пожалуй, мерзее самого человека в зелёном.

И вместе с ними сделал вид и я.

Эта мысль ударила меня сильнее, чем всё остальное. Я стоял в двух шагах, смотрел, как человека душат у меня на глазах, и считал половицы. Считал лампы. Считал, сколько осталось до следующей станции. Я знал, что трус, и знал, что это знание останется со мной навсегда.

Поезд гремел, тоннель тянулся, лампы дрожали, и мир вокруг медленно заливало зелёным: плащ, свет, стёкла, даже воздух стал густым и ядовитым. Это был тот самый цвет, который я столько раз видел на левом краю моей картины, где зелёный жмётся к белому и боится сделать шаг. Я вдруг понял, что смотрю сквозь него, как сквозь бутылочное стекло, и что вся сцена передо мной существует отдельно от меня.

— Вот и умница, — сказал он, когда она перестала биться. — Хорошая девочка. Её рука, цеплявшаяся за его плащ, обмякла и упала. Она смотрела на меня поверх его ладони, не мигая, и в этом взгляде больше не было просьбы. Было только понимание: никто не придёт. Я навсегда запомнил это выражение, в котором не оставалось ни страха, ни злости, только тихая, усталая пустота, какая бывает у человека, который наконец понял, как устроен мир.

Я хотел умереть. Я хотел, чтобы поезд сошёл с рельсов, чтобы лампы взорвались, чтобы земля обрушилась на нас и стёрла всё. Но поезд шёл дальше, ровно, равнодушно, как всегда, а мужчина в зелёном плаще повернул голову и посмотрел на меня. Он улыбнулся. Кивнул мне, как кивают сообщнику.

Последнее, что я услышал, был тонкий, пронзительный звук, будто кто-то царапнул вилкой по тарелке.

А потом наступила тьма, мягкая, тёплая, окутывающая меня.

И в этой тьме, далеко-далеко, я увидел два ярких диска, которые медленно загорались один за другим.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.